

Глава первая

Река мягко принимала мертвых, словно зная, что эти мертвые — особенные. Сколь бурным ни бывал иногда Ист-Ривер, сейчас, в утренних сумерках, он раскинулся широкой свинцовой лентой. Он был терпелив, не желая мешать людям в их деле. Сегодня он больше не получит покойников из гетто, зато получит других. Это было совершенно ясно.

На берегах Манхэттена всегда хватало желающих вверить себя водам Ист-Ривер — отчаявшихся, уставших, сумасшедших. Да и тех, кто вверял им других — жертв грабежей и сведения счетов. Пролив не привередничал. Через несколько дней он избавлялся от тел, вынося их к берегу — от причалов суетливого порта на юге до песчаных пляжей и ветхих мостков Бронкса на севере.

Это не реке приходилось мириться с тем, что город построили именно здесь, а человеку. На этот раз он решил остановиться и безучастно наблюдал, как экипаж небольшого парохода грузит на борт маленькие белые гробики, едва отличимые от снега, который шел со вчерашнего вечера и теперь укрыл все толстым слоем.

Дело для команды было привычное. Дважды в неделю пароход отвозил свежих покойников из гетто на остров Харт. Руки матросов хорошо знали, что делать, и работа спорилась. Капитан, человек мрачный и грубый, следил за погрузкой, стоя у релинга. Он тоже привык покрикивать на подчиненных, чтобы те поторапливались. А мой дед — тогда еще мальчишка лет четырнадцати-пятнадцати — привык смотреть, как пароход отчаливает от пристани, а потом тяжело и лениво берет курс на бедняцкое кладбище.

Обычно дед смотрел на пароход совсем недолго, проходя мимо. Он спешил, ведь нужно было раздобыть несколько центов и что-нибудь забросить в урчащий желудок — например, черствый бутерброд с селедкой или с огурцом, а может, даже съесть несколько кнышей и похлебать наваристого борща на Орчард-стрит в еврейском квартале.

Дед, как и река, не привередничал. Не важно, кто тебя кормит, ирландцы, итальянцы или евреи, главное — чего-нибудь пожрать. А если к вечеру остается шесть центов на ночлежку для разносчиков газет, то день удался. И уж совсем шикарно, если ты заработал еще и на жевательный табачок.

Дед никогда не признался бы, что этот пароход имел для него какое-то значение, хоть он и видел не раз, как тот пыхтит мимо Ист-Сайда со своим ничемным или драгоценным грузом. Это как посмотреть.

На борту было пока всего лишь несколько покойников, их имена никому ни о чем не говорили, а иногда имен у них не было вовсе, например у новорожденных, умерших некрещеными. Часто их никто не провожал на причале. Поскольку они не могли себе

позволить даже смерть, их жалкие похороны оплачивал город. Хотя бы раз, единственный раз, город платил за них.

Когда дед чистил сапоги в конце Деланси-стрит, когда стоял на перекрестке где-нибудь между Юнион-сквер и Чатем-сквер и пел сиюминутные шлягеры, когда продавал газеты у ворот завода или синагоги, пароход был для него лишь отдаленным воспоминанием. И когда он дрался за окурки или остатки пива в бочонке возле бесчисленных кабаков — тоже. Всего лишь воспоминанием, но воспоминанием неизгладимым.

Никто из тех мальчишек ни за что не признался бы, что этот пароход для них что-нибудь значит, но каждый раз они себя выдавали. Смотрели на него чуть дольше или сплевывали табак чуть равнодушнее, пробормотав: «Да уж, в ящик сыграть недолго».

Истсайдские покойники проплывали мимо них регулярно. И добавить тут было нечего. В жизни и так хватало трудностей, чтобы еще обременять ее смертью. Но если бы тогда кто-нибудь спросил деда, с глазу на глаз, то, возможно, он сказал бы, что совершенно точно не хочет одного: оказаться там, куда уходит этот пароход. Но никто не спрашивал. Никого не было. Он был один.

*«Volevo an impressive funerale»*¹, — говорил он уже стариком на своем странном смешанном наречии. Черную карету со стеклянными стенками, чтобы было видно, как он лежит в лучшем костюме из тонкого сукна. А следом — духовой оркестр. Так ирланд-

¹ «Хочу пышные похороны» (ит., англ.). (Здесь и далее примеч. перев.)

цы и итальянцы провозили своих покойников через гетто. На это они тратили последние деньги, если таковые были. Вот каких похорон он хотел, но не получил. В итоге за дешевым гробом шли только мама, Паскуале и я.

Первого января 1899 года дед стоял на полпути между Бруклинским мостом и Ратгерс-слип, где он купался летом, и наблюдал за движением на пристани. Он рассмеялся бы в лицо любому, кто сказал бы, что Ист-Ривер на самом деле вообще не река, а вытянутый морской пролив. Обитатели гетто воспринимали его не иначе как реку, которой они доверяли свои отходы, испражнения, своих мертвых. Река омывала людей, и иногда они сидели на ее берегу, чтобы на несколько минут отвлечься от городской тесноты.

Дед был доволен, ведь в последний день прошлого года он продал на Нижнем Бродвее немало газет, хотя основной его клиентуры на улицах почти не осталось — торговцам вразнос всегда была нужна упаковочная бумага, но многие из них спасовали перед воющим ветром и даже не вышли на работу.

Вчера он во всю глотку кричал: «Сенсация! Сенсация!» — это действовало почти безотказно. Столько «сенсаций», сколько он выкрикивал, просто не могло быть на свете. На Элизабет-стрит, где жила в основном ирландская беднота, его сенсации касались англичан, подавлявших Ирландию. На Малберри-стрит сенсации — покушение на короля, засуха; эпидемия в Старом Свете предназначались итальянцам. На Орчард-стрит конечно же было важно ругать русского царя.

Шеф деда Падди-Одноглаз наставлял его: «Если в городе убийство, кричи “сенсация” один раз. Евре-

ев выгоняют из Москвы и Киева? Евреи гибнут от великого голода в России? Дважды “сенсация”! А когда ничего не происходит, кричи “сенсация” три раза, чтобы хоть что-то продать». Кричать «сенсация» — никогда не повредит. Только по умершим в гетто никому не пришло бы в голову кричать «сенсация».

Одноглаз был всего на три-четыре года старше деда, но уже великий знаток сенсаций. Кличку свою он получил не за отсутствие глаза. Нет, ему не хватало трех пальцев на руке, но глаза были на месте. «На этот раз я, так и быть, закрою на это один глаз, — говорил он мальчишке, продавшему слишком мало газет, — но в следующий раз не забывай, что у меня два глаза. Так что поднапрягись». Вот так он каждому давал второй шанс.

Мальчишки боялись не столько тяжелой руки Одноглаза, он редко ее поднимал. В гетто хватало тяжелых рук: у полицейских, у старших парней, у торговцев, если ты что-нибудь стащил с их тачки. У отца тоже была тяжелая рука, если у мальчика был вроде как собственный отец. Если он давно не скрылся в западном направлении, прочитав плакат, обещающий золотые самородки размером с человеческую голову.

Сильнее любых побоев они боялись лишиться милости Одноглаза и потерять работу. Боялись, что он не поставит их на лучшие места — на оживленных перекрестках или перед знаменитыми ресторанами «Дельмонико» или «Люхов». Тогда им пришлось бы голодать еще больше, чем теперь. А что ждет потом, они видели дважды в неделю — чух-чух вверх по реке.

Дед был талантливым, но начинающим крикуном сенсаций, а вот Падди-Одноглаз — некоронованным

королем всего, что связано с заработком на улицах: продажа контрабандных сигарет, контрафактного алкоголя, газет и игра в монетки. Если бы не юный возраст, его можно было бы назвать матерым волком.

Большее уважение, чем Падди-Одноглаз Фаули, у мальчишек с улицы вызывал только Гудини. Они обожали волшебника, который мог в мгновение ока освободиться от наручников. Только ради него они соглашались голодать и жертвовали десять центов на посещение убогих театриков Бауэри или «Музея Хубера» на Юнион-сквер. У кого не было и этих денег, тот глазел на афиши с изображением низкорослого, коренастого мужчины: «Гудини — бесспорный король наручников!» Будто кто-то пытался это оспорить. Они смотрели и удивлялись.

Когда ребята побогаче выходили из театра, их осаждали те, у кого денег не было совсем. Если посмотревшие представление ничего не рассказывали, их избивали. Если они рассказывали плохо, их избивали. Так что им приходилось сочинять самые невероятные истории о Гудини. Один говорил, что маг надел на него наручники так, что он даже не заметил. Другой добавлял: «Он не только тебе надел, а всему залу», многозначительно кивал и сплевывал.

Такой, как Гудини, не попался бы ни одному полицейскому. Вывернулся бы из любой беды. У мальчишек даже было выражение «быть Гудини» или «быть как Гудини». Съесть собаку, быть стреляным воробьем, таким, кому ничего не будет. Обладать смекалкой, большой смекалкой. Такой никогда не окажется на корабле для бедняков.

У деда тоже было прозвище, его называли Спичкой. Не потому, что он был тощий. Тощие были все.

Большинству приходилось покупать подтяжки, чтобы не сваливались штаны. Подтяжки были в гетто ходовым товаром. Просто дед легко воспламенялся.

Снегопад начался в канун Нового года ранним вечером и преобразил гетто. Грязь, канализационные стоки, канавы, мусор, тина, остатки уличной ярмарки — все это лежало теперь под слоем белого снега, который становился все толще.

Снег падал на черные шляпы евреев-ортодоксов и платки итальянок, искавших немного муки, растительного масла и старой картошки для пончиков зепполе. Снег падал на пожарные лестницы, навесы над лавками и подъездами, а летом, когда жильцы выходили из квартир, спасаясь от жары, на каждом крыльце царила жизнь. Снег отчаянно посыпал прилавки на рынке, коробки и бочки, развешанные костюмы и платья. И все те бесчисленные вещи, которыми пользовались в гетто.

Снег падал на шлюх на Аллен-стрит, вышедших на улицу, несмотря на холод, чтобы завлечь клиентов. Им было все равно, набожный еврей, пьяный ирландец или просто любопытный прохожий с той стороны Четырнадцатой улицы, забредший в гетто в поисках развлечений, они распределяли свою благодать на всех. «Не желаешь ли помолиться со мной?» — зывали они ко всем без разбору. Летом, гуляя в тени железнодорожной эстакады, такая женщина роняла платок, и тот, кто его поднимал, отправлялся с ней «на молитву». Но в этакую погоду шлюхи лишь ненадолго выходили за дверь и вскоре возвращались в подъезд погреться.

Снег падал на иконы святого Роха и Богоматери Кармельской, на распятия, свечи и розовые венки

итальянцев, на сидуры, талиты и меноры евреев — все это продавалось с лотков на каждом шагу. Снег шел неумолимо и абсолютно демократично, снега хватало на всех, от Бэттери до Инвуда. Ветер беспрепятственно сквозил по застроенным улицам, словно дыхание сквозь тело лежащего гиганта. Слово яд.

Людам и животным оставалось лишь терпеть снегопад. И если люди подыскивали помещения, где бы погреться, то лошади терпеливо стояли на улице. Их спины, головы и морды постепенно покрывались снегом, как и повозки, что они возили за собой всю жизнь. Животные стояли смиренно, они пережили все причуды людей, переживут и причуды природы. Лошади прислушивались к ветру. Изредка они били хвостами, изредка закрывали добрые глаза и прядали острыми ушами, словно желая слышать еще лучше.

Их хозяева теснились в подвальных барах Малберри-стрит и грязных салунах Бауэри. Новый год кое-что значил и для бедняков, да, пожалуй, побольше, чем для остальных. Это был редкий случай, когда можно на несколько часов забыть обо всем. А для пьянчуг — отличный повод выпить. Когда солнце зашло и город готовился отметить большой праздник, люди начали забывать об Ист-Сайде и пить. Или пить и забывать, смотря что получалось быстрее.

К этому времени дед уже давно пересек Бауэри и пробился к Нижнему Бродвею. Он редко выходил из гетто, потому что только там чувствовал себя дома. Это была его территория, здесь он знал правила, здесь он был Гудини. Но к западу от нее, на Бродвее, на Пятой авеню и в северных кварталах, ему казалось, будто он очутился в чужой стране. Он никогда не бывал за границей, но был уверен, что именно так себя

там и чувствуешь. Обе руки сразу становились левыми, а лицо приобретало глупое выражение. Пройдешь всего несколько сотен ярдов, несколько шагов за Бродвей — и ты уже в другом мире.

Женщины здесь носили шелковые, бархатные и парчовые платья, ароматные ткани, украшенные кружевами, черные атласные пояса, шарфики из тонкого шелка. Мужчины ходили летом в бледно-желтых соломенных канотье с черной муаровой лентой или в белых фетровых шляпах. Зимой — в выдровых шубах с собольими воротниками. А такие, как дед, — наоборот — в засаленных шапках, рваных, вытянутых штанах и куртках, частенько босиком.

«Если хочешь чистить обувь или торговать газетами там, не плюйся табаком на улице. У меня работают люди с манерами. Зайди в бар и сплюнь в плевательницу. Но главное, не ругаться. Они там все очень набожные. А теперь давай, вали и наторгуй чего-нибудь, черт тебя дери!» — так их наставлял Одноглаз.

По дороге в даунтаун дед продал лишь несколько газет. В последнее время много и не покупали. На мир нельзя было положиться, он бросает тебя в беде как раз тогда, когда тебе голоднее всего. Последние настоящие сенсации кричали в ноябре. Двадцать шестого числа пароход «Портленд» потонул на пути в Кейп-Код, все сто девяносто два человека померли. Пятого ноября в Берлине давали премьеру пьесы какого-то немца по фамилии Гауптман. Дедушка мог выговорить «Берлин», но не «Извозчик Геншель», поэтому в огромном зале немецкой пивной «Атлантик-гарден» он выкрикивал: «Сенсация! Сенсация! Гауптман в Берлине! Бесспорная премьер!» Там ему не повезло, потому что ходили туда уже в основном